


КЛАССИКА  В ШКОЛЕ

9.9.90



Наденше дома
Амарал

Эдгар Аллан По

Падение дома Ашеров (сборник)

Падение дома Ашеров

Son coeur est un luth suspendu;

Sit?t qu'on le touche il r?sonne. De B?ranger[1]

В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид – на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья – на хмурые стены – на пустые окна, похожие на глаза, – на редкую, высохшую осоку – и на редкие белые стволы гнилых деревьев – и испытал совершенный упадок духа, который могу из всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, – горький возврат к действительности – ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло – ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же – подумал я, – что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимой; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз – но с еще бо?льшим содроганием – на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.

И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо – письмо от него, – на которое, ввиду его отчаянной настоятельности, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге – об изнуряющем его душевном расстройстве – и о снедающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее – очевидная

пылкость его мольбы – не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно

откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.

Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычною душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор – в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеро́в никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывая, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй, – быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чу?дное и двузначное наименование «Дом Ашеро́в» – наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.

Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт – взгляд на отражения в воде – лишь углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной – почему бы не назвать ее так? – моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией – фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям, – атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но подымавшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера, – нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.

Отгнав от души то, что

не могло не быть грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличье здания. Казалось, главною его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменяли его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречною соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многие напоминали мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.

Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многие по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливали неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг – резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантазмагорические латы, громыхавшие от моих шагов, – было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное – и я не мог этого не признать, – я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми

предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.

Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбою потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все пронизывала суровая, глубокая и безысходная мрачность.

Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно широкими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины – эти черты, в сочетании с непропорционально высоким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.

В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность – некий алогизм; и я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь – крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного организма и темперамента. Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости – тому крутому, неторопливому и гулкому произношению – тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности.

Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении, им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природою своей болезни. То был, по его словам, врожденный и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаялся найти, – просто-напросто нервное расстройство, тут же прибавил он, которое, несомненно, скоро пройдет. Выражалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня заинтересовали и повергли в растерянность; хотя, быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от болезненной обостренности чувств; он мог есть лишь

самую пресную пищу; он мог носить одежду только из определенной материи; всякий запах цветов угнетал его; свет, даже тусклый, терзал ему глаза; и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас.

Я понял, что он во власти ненормальной разновидности страха. «Я погибну, – сказал он, – я

должен погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе, настигнет меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою. Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а ее абсолютное выражение – ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придет время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком – страхом».

Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал, – относительно влияния, о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях, чрезмерно туманных, дабы их здесь пересказывать, – влияния, какие известные особенности зодчества и материала его фамильного замка ввиду многолетней привычки обрели над его душою, – таков был эффект, произведенный обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на

духовное начало его существования.

Однако он признался, хотя и не сразу, что столь обуявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины: от беспощадной и длительной болезни – говоря по правде, от несомненно приближающегося угасания – нежно любимой сестры, его единственного друга на протяжении долгих лет, последней из его родни на свете. Ее кончина, сказал он с незабываемой горечью, ее кончина оставит его (его, безнадёжного, хрупкого) последним в древнем роде Ашеро́в. Пока он говорил это, леди Маделина (так ее звали) прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга; и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотря на нее, я цепенел. Когда наконец за нею закрылась дверь, я тотчас, бессознательно и нетерпеливо, повернулся к брату; но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слезы.

Болезнь леди Маделины долго ставила в тупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь; но в сумерки того дня, когда я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессиляющему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее – по крайней мере живую.

Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и неперемнная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски.

Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом

наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую – из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, нагою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере, для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели.

Одно из фантазмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землею. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.

Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшем для страдальца невыносимую всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которую он был ограничен, – гитара – в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая

легкость его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог», звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:

Добрых ангелов обитель,

Расцветал зеленый лог;

Там, равнины повелитель,

Воздымал главу чертог.

Где владенья Мысли были,

Он стоял!

Век над лучшим краем крылий

Серафим не простирал.

II

Золотистые знамена

Осеняли светлый кров

(Было так во время оно,

В бездне веков);

И каждый ветерок, что вился

Вокруг знамен,

От пышной крыши уносился,

Благоуханьем напоен.

III

Виден странникам в долине

Танец был сквозь два окна

Духов, полных благостыни;

Лютня там была слышна,

Что наполнила волной гармоний

Роскошный зал —

Порфирородный там на троне

Властитель края восседал.

IV

Сияли на вратах чертога

Рубины, перлы в те года —

Лилось там много, много, много

Искрящихся всегда

Прелестных звуков без начала,

Чья цель была

Петь гимны, дабы в них звучала

Уму владетеля хвала.

V

Но в черных ризах злые духи
Напали на чертог царя;
(Ах, восскорбим: среди разрухи
Не запылает вновь заря!)
И прошлой славы ликование
Во всем краю кругом —
Лишь полустертое преданье
О сгинувшем былом.

VI

И видят путники в долине:
Сквозь окна льется красный свет
И чудища кружатся ныне
Под музыку, где лада нет;
А в своде врат поблекших вьется
Нечистых череда,
Хохочут – но не улыбнется
Никто и никогда.

Отлично помню, что эта баллада наводила нас на цепь размышлений, делавших ясною одну мысль Ашера, о коей упоминаю не ради ее новизны (ибо так думали и другие)[2], но из-за упорства, с каким он ее отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что все растительное надделено чувствительностью. Но в его расстроенном воображении эта идея приобрела более дерзновенный характер и, при некоторых случаях, вторгалась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было (как я намекал ранее) с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методою соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшею их и стоящие окрест гнилые деревья, – и, прежде всего, длительной, ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось, по его словам (и, пока он говорил это, я вздрогнул), в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном, но неослабном и

ужасающем влиянии, что долгие века ваяло судьбы его рода и сделало его таким, каким я теперь его вижу, – таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь.

Наши книги – книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, – как и следовало предполагать, пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантию» Роберта Флада, Жана д'Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы. Любимую книгу Ашера был изданный в восьмую листа томик – «Directorium Inquisitorum», сочинение доминиканца Эймерика де Жиронна; а некоторые строки Помпония Мелы, посвященные древним африканским сатирам и эгиптянам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа, – руководство некоей забытой церкви – «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae».

Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, и о ее неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди Маделины не стало, он высказал намерение на две недели (до окончательного погребения) поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычайного решения, была такова, что я не считал себя вправе оспаривать ее. Он решился на подобный поступок (как он мне объяснил), размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны ее врачей, а также ввиду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что почел, в крайнем случае, лишь безвредною и вполне естественною предосторожностью.

По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили (и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спертом воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть), был маленький, сырой, не допускающий решительно никакого света; пролегал он на большой глубине и прямо под тою частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далекие феодальные времена он нес худший из видов службы подземелья в донжоне, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легко воспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводчатый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет.

Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули еще не привинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащей в нем. Поразительное сходство брата с сестрою впервые бросилось мне в глаза; и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшею – близнецы и что меж ними всегда существовала мало постижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой – ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях, по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху.

И вот, по прошествии нескольких тяжелых дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла. Его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату – торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела, если только это возможно, еще более жуткий оттенок – но блеск в глазах его совершенно погас. Ранее голос его иногда звучал глухо, но не теперь; дрожь, трепет, как бы внушенные крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право, мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в борении с некою гнетущею тайною и Ашер напрягается, тщась накопить достаточно сил, чтобы ее поведать. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с видом глубочайшей поглощенности сидел, уставясь в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Неудивительно, что его состояние ужасало и заражало меня. Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров.

Я в полной мере испытал власть подобных ощущений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу – а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне – изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вокруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего; и, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался – не знаю почему, разве что бессознательно – к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда с большими перерывами доходившим ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся (ибо чувствовал, что тою ночью мне более не уснуть) и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно расхаживая взад и вперед по комнате.

Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я миг узнал поступь Ашера. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был, по обыкновению, мертвенно-бледен – но в глазах его сквозил род безумной веселости – во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня – но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение.

– И вы не видели? – отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставясь прямо перед собою. – Так не видели? Но постойте! увидите. – Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и рывком распахнул его грозе.

Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жути и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось; а чрезвычайная плотность туч (они свисали так низко, что давили на башни замка) не мешала нам видеть, как, подобно живым существам, металась она, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть – хотя не проглядывали ни звезды, ни луна, не сверкала и молния. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом.

– Вам не надобно – вы не должны это видеть! – дрожа, сказал я Ашеру и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил. – То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольно-таки обычное электрическое явление – а быть может, его породили омерзительные

гнилостные миазмы озера. Давайте закроем окно – воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду читать, а вы слушайте – и так мы вдвоем скоротаем эту ужасную ночь.

Старинный том, взятый мною, был «Безрассудное свидание», сочинение сэра Лонселота Кеннинга; но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез; ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его, может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какою он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла.

Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в обителище пустытника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова:

«И Этельред, от природы бесстрашный, а ныне еще более могучий от крепости выпитого вина, не стал долее вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но, чувствуя, как льет дождь, и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке; он с силою рванул, дернул и начал крушить, так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатились по всему лесу».

Дочитав эту фразу, я вострепнулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось (хотя я тотчас подумал, что моя возбужденная фантазия меня обманывает) – мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто, по точному своему подобию могущее быть эхом (но, разумеется, весьма приглушенным и тихим) именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Лонселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению; ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустытника; вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой чертог, вымощенный серебром; а на стене висел щит из сверкающей меди с такою надписью:

Кто внидет сюда, тот в боях знаменит;

Кто дракона убьет, тот добудет щит.

И Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что Этельреду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыхивали». Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения – ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал (хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел) тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет – точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.

Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячею разноречивых чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас, я все же сохранил достаточно

присутствие духа, дабы не тревожить замечаниями чувствительные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки; но, вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменялся. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери; и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить, что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь – но я знал, что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения – он раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжал читать сочинение сэра Лонселота:

«И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары, убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит; а щит не дожидаясь его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом».

Не успел я произнести эти слова, как – словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжело обрушился на серебряный пол – я услышал далекий, гулкий, явно приглушенный лязг. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги; но Ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я кинулся к его креслу. Он с застывшим, каменным лицом неподвижно смотрел прямо перед собою. Но как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног; болезненная улыбка затрепетала на его устах; и я увидел, что он забормотал – тихо, торопливо, бессвязно, как бы не сознавая моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов.

– Не слышу? – нет, слышу и

слышал. Давно – давно – давно – много минут, много часов, много дней я это слышу – и все же не смел, о, жальтесь надо мною, несчастным! – я не смел –

не смел говорить об этом!

Мы положили ее в могилу живою! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое движение в гулком гробу. Я слышал это – много, много дней назад – но я не смел – я

не смел говорить! А теперь – сегодня – Этельред – ха! ха! – треск ломаемой двери пустычника, предсмертный крик дракона, лязг щита – не сказать ли лучше: взламывание гроба, скрежет железной двери ее тюрьмы, ее шаги по медному полу склепа? Ох! Куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь на лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! – Тут он яростно прынул на ноги и пронзительно закричал, как бы с надсадой извергая душу: –

Безумец! Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!

И, точно сверхчеловеческая энергия его слов обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозowego порыва – но за дверьми и в самом деле высилась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, – а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол, труп и жертву предвиденных им ужасов.

Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю

мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние; ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась – дохнул бешеный ураган – передо мною разом возник весь лунный диск – голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены – раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками Дома Ашероу.

Убийство на улице Морг

Что за песню пели сирены, или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, – уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна. Сэр Томас Браун. «Захоронения в урнах»

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе мало доступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то

прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении пронизательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомочно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом *par excellence*[3]. Между тем рассчитывать, вычислять – само по себе – еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь

решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли, и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре

дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист – шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И, хотя прямая его цель – игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут – с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь – ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи[4] (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные – большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18... года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье Ш. Огюстом Дюпенем. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил

всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, – книги – вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное – я не мог не восхищаться неудержимостью и свежестью его воображения. Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья[5]; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга – ибо как еще это назвать? – была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту *bizarrierie*[6], как принимал и все другие, samozабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него – открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведаст живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля [7]. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

– Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете»[8].

– Вот именно, – ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

– Дюпен, – сказал я серьезно, – это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о... – Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

– ...о Шантильи, – закончил он. – Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его щедедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam[9] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

– Объясните мне, ради бога, свой метод, – настаивал я, – если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли. – Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

– Не кто иной, как зеленщик, – ответил мой друг, – навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne[10].

– Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

– Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie[11].

– Извольте, я объясню вам, – вызвался он. – А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи – Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, бульжник и – зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это – преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

– До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь бульжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись,

слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае, насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад – плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» – термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора – я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, – то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Mus?e» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum[12].

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион – когда-то он писался Урион, – мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклятие. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытаться счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux»[13], наткнулись мы на следующую заметку: «НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала только некая мадам Л'Эспане с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспане. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десяток соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), – толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с

корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами – общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспане! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и – о ужас! – вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана – явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые потеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху – ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения: «ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспане была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери да кое-когда привратника, да раз восемь-десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать-тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком.

Дверь поддавалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, – и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь – один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются – один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacr?» и «diable»[14], визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом француз. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий – скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacr?» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu!»[15].

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он – Миньо-старший. У мадам Л'Эспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады – небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспане до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспане; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал француз. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacr?» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри.

Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос – несомненно француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспане был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матрасе, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков – очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспане задушена – убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia[16], равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла – да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намёка на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя

никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

– А вы не судите по этой пародии на следствие, – возразил Дюпен. – Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость – чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена, требовавшего подать себе свой «gobe-de-chambre pour mieux entendre la musique»[17]. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. – мой старый знакомый – не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазели с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge[18]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к выходу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспане и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную «Gazette des Tribunaux», – и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец, мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведалься в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les m?nageais* [19], – соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то

особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

– Нет, ничего особенного, – сказал я, – по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

– Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, – возразил Дюпен, – то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспане, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли – другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи – этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу – пришел, если хотите, – к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

– Сейчас я жду, – продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, – жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращался к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

– Показаниями установлено, – продолжал Дюпен, – что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей

стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

– Все свидетели, – отвечал я, – согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

– Вы говорите о показаниях вообще, – возразил Дюпен, – а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса, тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз – все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не понимает». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации – «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь – правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

Не знаю, – продолжал Дюпен, – какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний – насчет хриплого и визгливого голоса – вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне. Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспане! Преступники – заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, – а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь-десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы

постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать а posteriori[20]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется – но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую со своей соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления – умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки – и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», – подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпильки осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, сломавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Не было заметно ни малейшей трещинки. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно – опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца скрылся в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась – сама по себе или с чьей-нибудь помощью, – пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос: как преступник спустился вниз? Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футы в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более взлезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники: они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь – одностворчатую, – с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспане шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае – не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, – и это главное, – хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина – вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой – крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии – резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена, так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

– Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почему знать, может быть, в комод и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспане и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, – зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах – дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под

влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения – это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятностей, – а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник – совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, – своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, – обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется невероятная сила, чтобы затолкать тело в трубу –

снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда –

сверху вниз...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать-тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях – страшно сказать! – запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, – красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано – голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспане. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, – и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить невероятную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также совершенно нечленораздельной речью. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня в жар бросило от этого вопроса.

– Безумец, совершивший это злодеяние, – сказал я, – бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

– Что ж, не так плохо, – одобрительно заметил Дюпен, – в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспане. Что вы о них скажете?

– Дюпен, – воскликнул я, вконец обескураженный, – это более чем странные волосы – они не принадлежат человеку!

– Я этого и не утверждаю, – возразил Дюпен. – Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспане, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен – по-видимому, отпечатки пальцев». Рисунок, как вы можете судить, – продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, – дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

– Нет, постойте, сделаем уж все как следует, – остановил меня Дюпен. – Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полence примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

– Похоже, – сказал я наконец, – что это отпечаток не человеческой руки.

– А теперь, – сказал Дюпен, – прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, невероятная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

– Описание пальцев, – сказал я, закончив чтение, – в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них, бесспорно, принадлежал французу.

– Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, а тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то

объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Le Monde» – газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, – это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«ПОЙМАН в Булонском лесу – ранним утром – такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

– Как же вы узнали, – спросил я, – что человек этот матрос с мальтийского корабля?

– Я этого не знаю, – возразил Дюпен. – И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы, – вы знаете эти излюбленные моряками queues[21]. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в моем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, – это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виноват, к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вон он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили – попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин – я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

– Держите пистолеты наготове, – предупредил меня Дюпен, – только не показывайте и не стреляйте – ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

– Войдите! – весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, – высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и mustachio[22] больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго

вечера, говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским[23] акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

– Садитесь, приятель, – приветствовал его Дюпен. – Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

– Вот уж не знаю, – ответил он развязным тоном. – Годика четыре-пять – не больше. Он здесь, в доме?

– Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчиный двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

– За этим дело не станет, мосье!

– Прямо жалко расстаться с ним, – продолжал Дюпен.

– Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, – заверил его матрос. – У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкнемся!

– Что ж, – сказал мой друг, – очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

– Зря пугаетесь, приятель, – успокоил его Дюпен. – Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

– Будь что будет, – сказал он, помолчав. – Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите – я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он

на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседней, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, – это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, – он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, – а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспане, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась вверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарabкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но, поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, – это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспане и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспане за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи, недолго думая, швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes[24]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

– Пусть ворчит, – сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. – Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука – сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае – голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas»[25].

Остров феи

Nullus enim locus sine genio est.

Servius [26]

«La musique, – пишет Мармонтель в тех «Contes Moraux»[27], которым во всех наших переводах упорно дают заглавие «Нравственные повести», как бы в насмешку над их истинным содержанием, – la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-m?me; tous les autres veulent des t?moins»[28]. Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем. И то, что он создает

эффекты, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой фразе, – несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и ради ее самой, и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому, – и, быть может, единственное, – которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы. Воистину человек, желающий узреть славу божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь – не

только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, – портит пейзаж и враждует с духом – покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все взирающие свысока, – я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душой, – целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница – луна; чей покорный богу властелин – солнце; чья жизнь – вечность; чья мысль – о некоем божестве; чье наслаждение – в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об *animalculae*[29], кишачих у нас в мозгу, – вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому как, наверное, мы представляемся этим *animalculae*.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас – невзирая на нужные рацеи наиболее невежественной части духовенства, – что пространство и, следовательно, объем имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства – не довод против мысли о том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненной силой является принципом, и насколько мы можем судить,

ведущим принципом в деяниях божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения – божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях, меньших в больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше, нежели те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу, лишь на том основании, что он действий этой души не замечал[30].

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничным мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз[31] сказал относительно известного произведения Циммермана, что «*la solitude est une belle chose; mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose*»[32]. Остроумие этой фразы нельзя отрицать: но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листы я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному – настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам – кроме западной, где начинало садиться солнце, – поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густо зеленью.

Так тень и берег слиты были,

Что словно в воздухе парили,

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения. С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросающимися искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделиями. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев – гибких, веселых, прямых, ярких, стройных и грациозных, с корою гладкой, глянцевиной и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось – всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам[33].

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином. Тень от деревьев тяжело ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров, – сказал я себе, – то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? Расстанутся ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево – к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно-белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, – пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным – но скорбь исказила его, как только она попала в тень. Плавно скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. «Круг, только что описанный феей, – мечтательно подумал

я, – равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее».

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозили забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она вплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотой. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно отходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально вплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда – не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.

Овальный портрет

Замок, в который мой камердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурятся среди Апеннин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Радклиф. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром; так что я попросил Педро закрыть тяжелые ставни – уже наступил вечер, – зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию.

Долго, долго я читал – и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу.

Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотопе погруженную в глубокую тень, отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала неясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно отыскал причину. Я хотел выиграть время для размышлений – удостовериться, что зрение меня не обмануло, – успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину.

Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное оцепенение, овладевавшее моими чувствами, и разом

возвратил меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой виньеточной манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства ничто не могло быть прекраснее этого портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение – не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляда от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушки. Картина заморозила меня абсолютным

жизнеподобием выражения, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описания картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова:

«Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию. И отмечен злым роком был час, когда она увидела живописца и полюбила его и стала его женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен – с Живописью; она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся – свет, вся – улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, свою соперницу; боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишивших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день. И он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец (всюду прославленный) черпал в труде своем жгучее упоение и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые, видевшие портрет, шепотом говорили о сходстве как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца, и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но наконец, когда труд близился к завершению, в башню перестали допускать посторонних; ибо в пылу труда живописец впал в исступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. И он не

желал видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И, когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен; и на один лишь миг живописец застыл, замороженный своим созданием; но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: «Да это воистину сама Жизнь!», внезапно повернулся к своей возлюбленной: –

Она была мертва!»

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.

Тарантул укусил его... «Все не правы»

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избежать унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш – убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, – можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой, как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати-двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Много в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18... года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготавливая на ужин болотных курочек. У

Леграна был очередной приступ восторженности – не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двусторчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

– А почему не сегодня? – спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

– Если бы я знал, что вы здесь! – воскликнул Легран. – Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

– Что? Восход солнца?

– К черту солнце! Я – о жуке! Он ослепительно-золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

– Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, – вмешался Юпитер, – жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

– Допустим, что все это так и жук из чистого золота, – сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, – но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, – продолжал он, обращаясь ко мне, – что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск – в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где были перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но там ничего не нашел.

– Не беда, – промолвил он наконец, – обойдусь этим. – Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга.

– Что же, – сказал я, наглядевшись на него вдосталь, – это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп!

– Череп? – отозвался Легран. – Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

– Может быть, что и так, Легран, – сказал я ему, – но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

– Как вам угодно, – отозвался он с некоторой досадой, – но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

– В таком случае вы дурачите меня, милый друг, – сказал я ему. – Вы нарисовали довольно порядочный

череп, готов допустить даже, хоть я и полный профан в вопросах остеологии, что вы нарисовали

замечательный череп, и, если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *Scarabaeus caput ho-minis*[34] или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

– Усики? – повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. – Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

– Не стоит волноваться, – сказал я, – может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. – И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды

походил на череп.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устроился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее, чем обычно.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего дурного с моим другом?

– Ну, Юп, – сказал я, – что там у вас? Как поживает твой господин?

– По чести говоря, масса, он нездоров.

– Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

– В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

–

Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

– Где там лежит! Его и собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа!

Бедный мой масса Вилл!..

– Юпитер, я хочу все-таки понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

– Вы не сердчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

– Что он делает?

– Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся...

– Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

–

После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А

вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

– Что? О чем ты толкуешь?

– Известно, масса, о чем! О жуке!

– О чем?

– О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

– Золотой жук укусил его? Эка напасть!

– Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил – голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

– Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

– Ничего я не думаю – точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про таких золотых жуков.

– А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

– Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

– Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

– О чем это вы толкуете, масса?

– Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

– Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой N!

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie?[35] Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus[36] в горах на материке. Только, кажется, нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером.

Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело

великой важности. Ваш, как всегда,

Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна, что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у

него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

– Это что, Юп? – спросил я.

– Коса и еще две лопаты, масса.

– Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

– Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

– Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

– Зачем – я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас

с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, – я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

– О да! – ответил он, заливаясь ярким румянцем. – На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

– В чем Юпитер был прав? – спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

– Жук –

из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

– Этот жук принесет мне счастье, – продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, – он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойдди принеси жука!

– Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений – натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и действительно блестели, как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уже строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

– Я послал за вами, – начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, – я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука...

– Дорогой Легран, – воскликнул я, прерывая его, – вы совсем больны, вам надо лечиться! Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

– Пощупайте мне пульс, – сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

– Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем...

– Вы заблуждаетесь, – прервал он меня. – Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

– А как это сделать?

– Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

– Я буду счастлив, если смогу быть полезным, – ответил я, – но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

– Да!

– Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

– Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

– Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

– Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

– А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

– Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь – Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» – вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо действительно энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом,

внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

– Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

– Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

– Высоко залезть, масса? – спросил Юпитер.

– Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

– Жука, масса Вилл? Золотого жука? – закричал негр, отшатываясь в испуге. – Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

– Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но, если ты вообще откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

– Совсем ни к чему шуметь, масса, – сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. – Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я,

боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipiferum*, – великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

– Куда мне лезть дальше, масса Вилл? – спросил он.

– По толстому суку вверх, вон с той стороны, – ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно.

Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издали:

– Сколько еще лезть?

– Где ты сейчас? – спросил Легран.

– Высоко, высоко! – ответил негр. – Вижу верхушку дерева, а дальше – небо.

– Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

– Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

– Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

– А теперь, Юп, – закричал Легран вне себя от волнения, – ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

– По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

– Ты говоришь, что она

сухая, Юпитер? – закричал Легран прерывающимся голосом.

– Да, масса, мертвая, готова для того света.

– Боже мой, что же делать? – воскликнул Легран, как видно в отчаянии.

– Что делать? – откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. – Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

– Юпитер! – закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. – Ты слышишь меня?

– Слышу, масса Вилл, как не слышать!

– Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

– Она, конечно, гнилая, – ответил негр немного спустя, – да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

– Что это значит? Разве ты и так не один?

– Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

– Старый плут! – закричал Легран, испытывая, видимо, облегчение. – Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

– Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

– Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

– Хорошо, масса Вилл, лезу, – очень быстро ответил Юпитер, – а вот уже и конец.

– Конец ветви? – вскричал Легран. – Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

– Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

– Ну? – крикнул Легран, очень довольный. – Что ты там видишь?

– Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

– Ты говоришь – череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

– А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

– Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

– Слышу, масса.

– Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

– Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

– Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

– Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

– Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

– Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

– Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

– Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнура. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять-двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косою в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к подобным забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук «из чистого золота».

Такие мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко

огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрее и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран, а я был бы только рад, если бы смог с помощью постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

– Каналья, – с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, – проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

– Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! – ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страхась, что его господин вырвет ему этот глаз.

– Так я и думал! Я знал! Ура! – закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

– За дело! – сказал Легран. – Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! – И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

– Ну, Юпитер, – сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева, – говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

– Наружу, масса, так чтобы вороны могли клевать глаза без хлопот.

– Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука – в тот или этот? – И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

– В этот самый, масса, в левый, как вы велели! – Юпитер указывал пальцем на правый глаз.

– Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но, хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через несколько секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груды костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой – и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку; лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиной в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой – в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвигаемых болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение – и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был поражен словно громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в

теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

– И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих – и слугу и господина – к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, – ведь и человеческая выносливость имеет предел, – мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, под утро, мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжелой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки – французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочесть на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправы и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценностей. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадилниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть

поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

– Вы помните, – сказал он, – тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня – я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылал и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

– Клочок бумаги, вы хотите сказать, – заметил я.

– Нет! Я сам так думал вначале, но, как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было

никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, предчувствие той разгадки, которую столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент; он показался тогда мне бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую

связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шляпка, неподалеку от шляпки пергамент –

не бумага, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите: где же здесь связь? Я отвечаю, что череп – всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага – пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на

формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

– Все это так, – прервал я Леграна, – но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там

не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шляпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

– А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно,

не вы нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел к столу. Ну, а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте

под влиянием тепла.

Вы, конечно, слышали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно писать невидимо и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру[37] в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в

нашатырном спирте – они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка – я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, –

выделялся отчетливее. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся я. – Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством; это – прерогатива фермеров.

– Но я же сказал вам, что это была
не коза.

– Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

– Большой я тоже не вижу, но разница есть, – ответил Легран, – сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Подпись я говорю, потому что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного – текста моего воображаемого документа.

– Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

– Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук – из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события прились на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

– Хорошо, что же дальше?

– Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на Атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор

не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если пират отрыл бы сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешала Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы

о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

– Нет, никогда.

– А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

– Что вы предприняли дальше?

– Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял пергамент и осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком – сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки.

53## +305)) 6*; 4826) 4#.) 4#.); 806*, 48+8 || 60)),

85;:] 8*:# *8+83(88)5*+; 46(;88*96*?;8)*#(;485);

5*+2:*# (;4956*2(5*=4) 8 || 8*; 4069285);) 6+8)

4##; 1(#9; 4 8081; 8:8#1; 48+85; 4) 485+528806*81

(#9; 48; (88; 4(#? 34; 48) 4#; 161;:188#?;

– Что ж! – сказал я, возвращая Леграну пергамент. – Меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

– И все же, – сказал Легран, – она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки – конечно, шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

– И что же, вы сумели найти решение?

– С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, какую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за

другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей[38] скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал: криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимения

я или союз

и), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

В английской письменной речи самая частая буква –

e. Далее идут в нисходящем порядке

a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z. Буква

e, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву

e английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква

e очень часто удваивается, например, в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 – это

e. Самое частое слово в английском – определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак; – это буква t, а 4 – h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно e. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода; 4 8. Идущий сразу за 8 знак; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t. ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву – r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree; 4 (#? 34 the.

Заменяем уже известные знаки буквами:

the tree thr#? 3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово – through (через). Это открытие дает нам еще три буквы – o, u и g, обозначенные в криптограмме знаками? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83 (88),

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква d обозначена знаком +. Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 48 (; 8 8 *

Заменяем, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th.rtee.

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

53## +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

good

Недостающая буква, конечно, а, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы:

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма – из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the bishop's hostel in the Devil's seat twenty-one degrees and thirteen minutes – northeast and by north – main branch seventh limb east side – shoot from the left eye of the death's-head – a bee-line from the tree through the shot fifty feet out». [Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.]

– Что же, – сказал я, – загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарбарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

– Согласен, – сказал Легран, – текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленивать эту запись по смыслу.

– Расставить точки и запятые?

– Да, в этом роде.

– И как же вы сделали это?

– Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле – двадцать один градус и тринадцать минут – северо-северо-восток – главный сук седьмая ветвь восточная сторона – стреляй из левого глаза мертвой головы – прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

– Запятые и точки расставлены, – сказал я, – но смысла не стало больше.

– И мне так казалось первое время, – сказал Легран. – Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «Трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «Трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessor), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилкам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полкой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно – подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Спустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано – «северо-северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии, или просвете, в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию, от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

– Все это выглядит убедительно, – сказал я, – и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

– Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез, и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в той скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, заметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но на завтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

– Значит, – сказал я, – первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в

правую глазницу черепа вместо левой?

– Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище – здесь, наши труды пропали бы даром.

– Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов – в этом чувствуется некий поэтический замысел.

– Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае – если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

– Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

– Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в своем уме, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

– Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда эти скелеты в яме?

– Об этом я знаю не больше вашего. Тут возможна, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд – если он владелец сокровища, в чем я лично не сомневаюсь, – не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А быть может, потребовался целый десяток – кто скажет?

Колодец и маятник

Impia tortorum longos hie turba furores

Sanguinis innocui, non satiata, aluit.

Sospite nunc patri?, fracto nunc funeris antro,

Mors ubi dira fuit vita salusque patent[39].

Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решено разбить на месте якобинского клуба в Париже

Устал, смертельно устал от этой затянувшейся пытки; и, когда наконец меня развязали и я

смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор еще отчетливо прозвучал в моих ушах, но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий, невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то

кружения — быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то — лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел — и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью! Я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми — белее листа, на котором я пишу эти строки, — и тонкими, до уродливости тонкими; их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моею Судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми, стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный покой. Она пришла осторожно и бесшумно и, казалось, задолго до того, как разум постиг ее до конца; но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли, точно по волшебству, длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак; все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением — так душа нисходит в Аид. А затем — беспредельная тишина, покой и ночь.

Это был обморок, и все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать, — скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытии — нет, мало! — в бреде — мало! — в обмороке — мало! — в могиле... да! даже в могиле

что-то остается. А иначе бессмертие наше — пустой звук! Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину

какого-то сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось, — до того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени: сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом — чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатления первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое — эта бездна? Как отличить ее тени от теней могилы?.. Однако если впечатления, оставленные тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силою воли, то разве не появляются они сами спустя долгое время — непрошенные, неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц; он не заметит парящих в воздухе печальных образов, незримых толпе; он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка; он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавшие его внимания.

Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха; случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных

фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз – все вниз, вниз, вниз! – до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиной в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, – словно те, кто нес меня (о, этот путь!), переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного, тяжелого труда. Вслед за тем душу пронизывают апатия и тоска; и наконец все захлестывает

безумие — безумие памяти, вступившей в запретные области.

Совершенно неожиданно возвращаются движение и звук – громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. Затем – провал: пустота, ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение, и какая-то дрожь пронизывает все мое существо. Затем простое ощущение бытия, без всякой мысли – состояние, которое долго не проходит. И вдруг –

мысль, и ужас, потрясший меня с головы до пят, и напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспомыслие. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут – полное и ясное воспоминание о процессе, судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем – абсолютное забвение всего, что последовало; лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это в памяти.

Я еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжение которого я силился сообразить, где я и

что со мною случилось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и... не увижу

ничего. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался: густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаюсь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв: такая мысль – вопреки всему, что мы читаем в романах, – совершенно несовместима с реальным существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может: ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем и свет все же проникал в нее.

Вдруг – страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу; на короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги, каждая жилка во мне дрожала. Я испуганно шарил вокруг себя во всех направлениях. И, хотя руки встречали одну лишь пустоту, я не решался ступить ни шагу – боясь натолкнуться на стену

склепа. Обильный пот выступил изо всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед,

вытянув руки и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезали из орбит. Я ступил раз, другой, третий – много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее: теперь мне казалось бесспорным, что моя участь – не самая страшная из всех возможных.

И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробираться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах; правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до того странными и жуткими, что их повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть, и смерть утонченно жестокая, я не сомневался – слишком уж хорошо знал я своих судей. Способ и срок – вот все, что меня занимало и не давало мне покоя.

Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому, каменной кладки – очень гладкая, осклизлая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы: я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, не заметив этого, – настолько неразличимо однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, – но его не оказалось; вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его на первый взгляд непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину, под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Так, по крайней мере, я думал; но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил: я остался лежать навзничь и, так и не поднявшись, скоро уснул.

Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлебец и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрал наконец до обрывка саржи. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а теперь еще сорок восемь. Таким образом, всего получалось сто шагов; и, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет пятьдесят ярдов в окружности. Но, так как во многих местах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания склепа, – я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп.

Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели и, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом я прошел шагов десять-двенадцать, когда запутался в подоле своего балахона и упал как подкошенный лицом вниз.

Я не сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство; очень быстро, однако ж еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем: мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколько ниже подбородка. В то же время лоб окутали какие-то холодные испарения, и

специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у самого колодца, я ухитрился отковырнуть маленький кусочек цемента и бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зиявшего передо мной провала; наконец сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и так же быстро захлопнули дверь у меня над головой, слабый луч света неожиданно прорезал мрак и так же неожиданно погас.

Теперь я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг – и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, только что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках или той же смерти, но в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего: долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука собственного голоса, и вообще трудно было выбрать жертву более подходящую для той пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев: воображение уже рисовало их мне во множестве, по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями, – но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок я не мог забыть того, что читал об этих колодцах: они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни

мгновенно.

Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть, но в конце концов я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебец и воду. Меня томила жгучая жажда, и я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья: не успел я допить до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном – сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы.

Оказалось, что я сильно ошибся: протяженность стен не превышала двадцати пяти ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги – вот уже поистине бессмысленной: ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размеры темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаюсь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал пятьдесят два шага; в момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход склепа. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа.

Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов, и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы, – с такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами, или нишами, расположенными на неодинаковом расстоянии одна от другой. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные

плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенной рукой и другие, менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что, хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись – словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избежать; но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было.

Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменялось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанный к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, – но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едой, стоявшей подле на полу. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу» – потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерения моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо.

Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в тридцати или сорока футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура Времени, каким его обычно изображают, только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее. И, когда я пристально глядел прямо вверх (маятник находился как раз надо мною), мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше – изумления. Устав наконец наблюдать за этими однообразными движениями, я принялся смотреть по сторонам.

Легкий шум донесся до моих ушей, и, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в моем поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах – поспешно, жадно, привлеченные запахом мяса. Мне стоило немалого труда удержать их на расстоянии от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час (я мог судить о времени лишь очень приблизительно), прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлиннились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно

опустился. Теперь я рассмотрел – надо ли говорить, с каким ужасом? – что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиной с фут (от рога до рога); кончики рогов были обращены вверх, а лезвие казалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался – тоже как бритва – и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким

свистом рассекал воздух.

Так вот, значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках! То, что я разгадал тайну колодца, стало известно инквизиторам, –

колодца, ужасам которого обрекали дерзких, нераскаявшихся грешников вроде меня;

колодца, который был, по слухам, прообразом ада – Ultima Thule[40] всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец; а я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих застенках. Но я оступился раньше, чем следовало, и это нарушило дьявольский план низвержения преступника в бездну, а потому (иного выхода не было) меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная! Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжение которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что, казалось, протекали века, пока это становилось заметным, – все ниже и ниже опускался маятник! Прошли дни, может быть, много дней – и вот он уже пронесется так близко, что веет мне в лицо едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился, я непрерывно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана. А потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно, улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя – редкостной игрушке.

И снова – провал, глубочайшее забытие; оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим: ведь демоны инквизиции (я знал это наверное) следили за мной и, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю – нет, больше! – невыразимую усталость и слабость, словно после долгого, изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И, когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости... надежды.

Я — и надежда? Нет, невозможно, несовместно! Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их... вернуть: долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота.

Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он прорвет саржу моего халата, он будет уходить и возвращаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращаться – снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет прорывать мой халат – и только. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить

дальнейший спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз – тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо – влево – то удаляясь – то снова приближаясь – визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл – в зависимости от того, какие чувства брали верх.

Вниз, вниз – уверенно и безжалостно! Вот он уже пронесется в трех дюймах от моей груди. Я

извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, – но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз – все так же упорно, все так же неотвратно! Я задыхался и корчился при каждом взмахе, пытаясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением – о! несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, какое ничтожное движение механизма обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была

надежда: слыша ее голос, трепетали нервы... скамейка точно уходила в пол... То была

надежда – та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слово утешения.

Я увидел, что еще десять-двенадцать взмахов, и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал

думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит, – это цельный кусок. Я был связан

одним-единственным ремнем. Первый же удар острого, как бритва, полумесяца, – при условии, что он заденет ремень, – рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, –

но на пути губительного полумесяца их не было.

Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была – я не могу описать ее иначе – зыбкая и бесформенная прежде половина того плана избавления, о котором я уже упоминал: другая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я держал в руках всю мысль полностью – пусть бледную, пусть едва ли здравую и не совсем отчетливую, но всю целиком, и тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению.

Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами – хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» – думал я.

Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание.

В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменной – внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпрыгу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута – и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают путы. Я знал, что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать

неподвижно.

Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя

свободным. Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха – и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением – осторожно, медленно, вбок и назад – я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недостижим для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг

я был свободен.

Свободен – и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа – ложа ужаса! – и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я обвел беспокойным взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение, – сначала я не мог сообразить, какое именно, – произошло в обличии камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит тот фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириною вполдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался выглянуть через эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, с жуткою, чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным.

Нематериальным – как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного

железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей – о-о-о! самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть значение того, что я увидел. Но в конце концов оно пробилось... силой проложило себе путь в сознание... ожогом врезалось в мой содрогающийся рассудок! О! Язык мне не повинуется... О! Какой ужас... ужас, не сравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.

Жар быстро усиливался, и, трясаясь, словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемены – на этот раз заметно переменялась

форма темницы. Как и раньше, первая попытка правильно оценить или хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолги. Дважды ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием, повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других – в согласии с этим – тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, и стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба. Но движение стен не остановилось... и сам я уже не надеялся, да и не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты – риза вечного успокоения. «Смерть, – твердил я, – любая смерть, только не в колодце!» Глупец! Как это я сразу не догадался, что

именно в колодец должно загнать меня раскаленное железо! Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог – в силах ли я был не отступить перед их напором? А ромб делался все у?же, у?же – с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находилась в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся, но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом, последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю... Я отвернул лицо...

И вдруг... Нестройный гул человеческих голосов! Громкий рев, словно взвыли тысячи труб! Резкий, скрипучий удар, словно грянули тысячи громов! Огненные стены отпрянули! Чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Ласаль. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках ее врагов.

Примечания

Его сердце – висящая лютя.

Коснешься – и она зазвучит.

Де Беранже (

франц.)

2

Уотсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. – См. «Очерки по химии», том V.

3

По преимуществу (

фр.).

4

Френолог – сторонник френологии, антинаучного учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа. Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758–1828).

5

Аристократический район Парижа на южном берегу Сены.

6

Странность, чудачество (

фр.).

7

Пале-Рояль – дворец с садом в Париже, построенный для кардинала Ришелье в 1629–1634 гг.

8

Театр «Варьете» – парижский театр водевиля, основанный в 1807 г.

9

Некогда (лат.).

10

И ему подобных (лат.).

11

Очковтирательство (фр.).

12

Утратила былое звучание первая буква (лат.).

13

«Судебная газета» (фр.).

14

«Проклятие» и «черт» (фр.).

15

Боже мой! (фр.)

16

Берцовая кость (лат.).

17

«Халат, чтобы лучше слышать музыку» (фр.).

18

Привратницкая (фр.).

19

Я им потакал (фр.).

20

На основании опыта, исходя из опыта (фр.).

21

Здесь: косицы; буквально: хвосты (фр.).

22

Усы (ит.).

23

Невшатель – город на севере Франции.

24

Ботанический сад (фр.).

25

«Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует» (фр.).

26

Ибо нет места без своего духа-покровителя.

Сервий (лат).

27

Моргах – здесь производное от *moeurg* и означает «о нравах». –

Прим. Э. По .

28

Музыкальность – единственный талант, который довольствуется сам собою; все остальные требуют второго лица (

фр). –

Прим. Э. По .

29

Микроскопических существах (

лат).

30

Говоря о приливах, Помпоний Мела в своем трактате «*De situ orbis*» утверждает, что «или мир – огромное животное, или...» и т. д. –

Прим. Э. По.

31

Бальзак; передаю общий смысл – точных слов не помню. –

Прим. Э. По .

32

«Одиночество – прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество – прекрасная вещь» (

фр .).

33

Florem putares nare per liquidum aethere. –

P. Commire . [Ты полагаешь, что цветок рождается из текучего эфира. –

Отец Коммир (

лат .).] –

Прим. Э. По.

34

Жук – человеческая голова (

лат .).

35

Резкость (

фр .).

36

Один (
лат.).

37

Цафра – голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

38

Испанские моря – район Карибского моря, место наибольшей активности морских пиратов.

39

Кровью невинных насытая, шайка убийц нечестивых

Долго лелеяла здесь злое безумье свое.

Ныне разрушен застенок, родина ныне свободна;

В логово лютых смертей жизнь и спасенье пришли.

(
лат .)

40

Здесь: последним пределом (

лат .).